



ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Великая мать любви

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2023

альпина
ПРОЗА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44
Л58

Лимонов Э.

Л58 Великая мать любви : [рассказы] / Эдуард Лимонов. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 384 с.

ISBN 978-5-00139-630-7

После отъезда из США Эдичка живет во Франции. Здесь выходит его первый роман, который впоследствии станет культовым, но пока про него не пишут, он с трудом сводит концы с концами, мерзнет в неотапливаемой студии и живет впроголодь. Но русский поэт знал и куда более худшие времена.

«Великая мать любви» — сборник рассказов об эмиграции и не только, где художественная проза, как всегда у Лимонова, предельно смыкается с мемуарной.

«Область чувств и соседствующая с нею область поступков соединены запутанными немаркированными нервами. А нервов этих, паутинок, многие сотни. Иногда достаточно бывает просвистеть сильную мелодию, чтобы порвались какие-то...»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

© Эдуард Лимонов, 1987, 1988
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

ISBN 978-5-00139-630-7

Содержание

ВЕЛИКАЯ МАТЬ ЛЮБВИ

ВЕЛИКАЯ МАТЬ ЛЮБВИ.....	5
ПАДЕНИЕ МИШЕЛЯ БЕРТЬЕ.....	38
«ДЕШЕВКА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ПРАЧКОЙ...».....	49
СМЕРТЬ РАБОЧЕГО	82
ЖЕРТВЫ ГОЛЛИВУДА.....	109
СТЕНА ПЛАЧА	138
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ	148
WORKING CLASS HERO.....	162
МЕЖДУ БЕЛЫМИ	181
ОБЫКНОВЕННАЯ ДРАКА.....	198

КОНЬЯК «НАПОЛЕОН»

КОНЬЯК «НАПОЛЕОН»	214
KING OF FOOLS.....	251
THE DEATH OF TEENAGE IDOL	266
ДОЖДЬ.....	285
ЗАМОК.....	302
ПОРТРЕТ ЗНАКОМОГО УБИЙЦЫ	320
«ТЕ САМЫЕ...».....	338
КОРАБЛЬ ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ	345
КРАСАВИЦА, ВДОХНОВЛЯВШАЯ ПОЭТА.....	352
МЫ ПРИВЕЛИ ИЗ РАЗВЕДКИ ДВУХ ПЛЕННЫХ	365

Великая мать любви

«И они еще жалуются, хотят лучшей жизни... Еда валяется у них под ногами...» Я присел и пошарил в ящике рукой. Выудил из месива холодных листьев и корней пару лимонов. Шкура лишь одного была тронута пятнами. Второй был свеж, как будто, спелый, свалился в ящик с лимонного дерева. «Выбрасывать такие полноценные фрукты! Однако верно и то, что брезгливый парижский потребитель не купит лимон с пятнышком на коже... Цивилизация избаловала их...»

Меня она еще не успела избаловать. Посему я смело запустил руку в ящик с отходами салата и в холодном свете уличного фонаря выбрал лучшие листья. Декабрьский ветер поддувал под китайский ватник. От перебирания мокрых отбросов руки заledenели. Мне хотелось найти капусту, но капусты сегодня не было. Выбросили десяток картошин — вполне приличных. Я нашел толстокожее большое яблоко, забракованное неизвестно за какие скрытые дефекты, прихватил как мог много пустых ящиков, засунув маленькие в большие, и отправился chez moi*. На пересечении рю Рамбуто с рю Архивов в лицо мне больно швырнуло снежной крупой. Был декабрь 1980 года, деньги, привезенные из Америки, давно растаяли, и я гордо существовал на литературные доходы. Сравнивая свою жизнь в Париже с «бедствованиями» в этом же городе Миллера и Хемингуэя, я находил их существование благополучным. Они ведь посещали кафе и рестораны! Однако мне недоставало жалости к себе, чтобы отчаяться. К тому же у меня был за плечами опыт куда более голодной жизни в Москве и Нью-Йорке.

* К себе (франц.). — Здесь и далее примечания автора.

Поднимаясь по лестнице с ящиками, я встретил жившую на самом последнем этаже, под крышей, бледную девушку с массой каштановых волос, всегда убранных по-разному, в этот вечер они выливались на плечи. Я дал себе последнее слово, что в следующий раз во что бы то ни стало заговорю с ней. Кроме финансовой проблемы, появилась голая, во всем ее бесстыдстве, проблема секса. Была еще проблема отопления жилища и множество карликовых проблем, вроде приобретения ленты для пишущей машинки и бумаги, но самым наглым образом требовали заботы о себе желудок и секс.

Я сгрузил ящики у двери, меж старых шкафов, и прошел в голову студии-трамвая, к окнам. Открыл окно и, опершись на решетку, выглянул в улицу. Далеко внизу, на углу Рамбуто и Архивов, в витрине магазина Mille feuilles*, ярко освещенная, лежала моя первая книга. Декабрьский ветер царапал мне физиономию, студень и сухой, но я постоял некоторое время таким образом, глядя на мою первую книгу. Никто не мог видеть меня, окна домов напротив были прочно задраены на ночь, однако, когда истеричная нервность гордеца пробежала по моему лицу, покаявая кожу, и оно (я был уверен) сделалось маниакально-горделивым, я предпочел закрыть окно. Позволив себе до этого презрительно окинуть взглядом город, то есть доступный мне открыточный срез пересечения Рамбуто и Архивов, с часами, кафе и магазином Mille feuilles и пробормотать: «Et taintement, à nous deux!»** Знаменитую фразу Растиньяка я выучил после фразы «Je t'appel Edouard»***.

Поставив варить собранную на Рамбуто картошку, я сделал салат-ассорти, в него вошли лимон и яблоко. Ужин получился

* «Тысяча листьев» (франц.).

** «А сейчас кто кого!» (франц.)

*** «Меня зовут Эдуард» (франц.).

вполне приличный. Я знал куда худшие времена. У меня оставалось несколько тысяч франков в банке, но нужно было беречь их, студия стоила 1300 франков в месяц. Никаких денежных поступлений в будущем не предвиделось.

В ту зиму я презирал род людской, как никогда ни до, ни после не презирал его. Мне удалось издать книгу, кончающуюся словами: «Я ебал вас всех, ебанные в рот суки! Идите вы все на хуй!» Книга появилась в магазинах 23 ноября. Ожидались статьи в «Ле Мوند», в «Экспрессе» и в «Ле Матэн». Каждое утро я выбегал покупать прессу, но статей о моей книге в названных изданиях не обнаруживал. Затянув китайский ватник плотнее ремешком, я возвращался в студию и, суровый, садился писать новую книгу. Вечера я проводил за чтением... что может читать борющийся с бедностью и обществом писатель? «Песни Мальдорора»! Я привез «Песни Мальдорора» в переводе на английский из Соединенных Штатов. Уцененный «Пингвин-классик», пэйпер-бэк, стоил меньше доллара. Очевидно, американцам Лотреамон был неинтересен. Ночами я ходил по рю Франк-Буржуа к Пляс де Вож.

Владелица квартиры, бодрая старушка (мадемуазель Но!), запретила мне разжигать камин, но я жег его каждый вечер. Ящики прогорали моментально, но, если мне удавалось найти старую мебель или строительные доски, в студии делалось тепло. Я приобрел китайскую пилу за 21 франк и не пользовался *electrochof fage** вовсе. По совету Исидора Дюкаса два часа в день я уделял физическим упражнениям — тренировал себя в Мальдороры.

Самой характерной особенностью моей тогдашней жизни было то, что, за исключением эпизодических randevu со служащими издательства «Рамзэй», я прекратил общение

* Электрообогреватель (франц.).

с людьми. Сентябрь, октябрь, ноябрь я провел в стерильном одиночестве. Мое существование всегда отличалось судорожным экстремизмом. Я принадлежу к категории людей, которые вдруг меняют жизнь в борделе на жизнь монастырскую. Нормальной, сбалансированной сексуальной или социальной жизни у меня никогда не было. Однако на сей раз я, кажется, зашел слишком далеко... Не имея рядом близких людей, я сосредоточил все свое внимание на девочке «с шевелюрой». Третьего декабря я заметил, что беседую сам с собой, в голос, по-английски. Я дискутировал, раздвоившись, проблему «этих девочек», то есть проституток. Моя предыдущая по времени позиция, что проституция такая же профессия, как и другие профессии, подверглась моим же нападкам. Я впал в нелогичную мистику и бормотал что-то об удушающем запахе шевелюры девочки сверху. Очнувшись от дискуссии, я обнаружил себя (нас, раздваивался я и раньше, это не был мой первый опыт раздваивания) сидящим у хрупкой двери студии в потоке холодного воздуха из-под двери и прислушивающимся к шагам на лестнице. Какая связь между девочкой с шевелюрой и проституцией? Дело в том, что я подозревал девочку сверху в проституции. Основанием послужило необычное расписание жизни ее. В то время как все обитатели последнего этажа — *chambre de bonnes** — сотрясали лестницу по утрам, она сходила по лестнице не ранее одиннадцати дня. Я справедливо полагал, что ни одна работа или учеба в мире не начинается в полдень. Подозрение усугублялось ее чрезмерно напудренным бледным личиком с жирно окрашенными губами. На личике этом, по правде говоря, не было написано вульгарности, как правило, гордо носимой жрицами любви на рю Сент-Дени,

* Комнаты для служанок (*франц.*) — обыкновенно помещаются на самом верхнем этаже, под крышей.

но это меня не смущало. Бодлеристый, из «Цветов зла», городской чахлый порок намалеван на этом личике, решил я. Четвертого декабря я сумел увидеть ее в дверную щель и последовал за ней. Она быстро пошла по Рамбуто, миновала Центр Помпиду и достигла бульвара Севастополь. Я победоносно уже напевал «Все хорошо, прекрасная маркиза...», предполагая, что сейчас она пересечет бульвар, дабы стать на своем углу rue Сент-Дени, но она отправилась по бульвару вверх. Минут десять я шагал за нею, не выпуская из виду ее узкую, худенькую спину в дубленой, в талию, шубейке до пят, как вдруг она вошла в дверь высокого дома. Не имея возможности вбежать в дом тотчас вслед за нею, я выждал некоторое время, и тем, неопытный детектив, загубил всю слежку. В списке жильцов дома числилось более десяти этажей и с десятков организаций. Иди знай, куда и к кому она отправилась. Делать любовь или печатать на машинке. Подозрительнее всех показалось мне «Польское товарищество либеральных профессий» на шестом этаже направо, но я не сумел соединить эти два подозрения. Если «моя девочка» отправилась в «Польское товарищество», то каким образом это сообщается с ее предполагаемым проституированием? На типичную большую наглую блондинку — так я себе представлял полек — моя девочка не была похожа.

В самый пик моей страсти к девочке сверху — утром девятого декабря зазвонил телефон. Телефонный звонок был для меня событием из ряда вон выходящим, посему я не радовался, когда они раздавались, но пугался. Выбравшись из-под теплого одеяла хозяйки, оставив в покое свой член, который я поглаживал, вспоминая «девочку с шевелюрой», я присел на корточки у телефона — шнур был коротким. Я медлил, пытаюсь угадать, кто это может быть, возможно, девочка с волосами узнала мой телефон и звонит мне?

Нет, это не была робкая любовь нынешняя, но прошлая страсть моя, бывшая жена, звонила из Рима. «Эд! Случилось страшное. Убили Джона Леннона!» Я сделался невероятно зол. Одним махом, сразу же, еще теплый от сна. Накануне я хорошо натопил студию счастливо обнаруженными мною под грудой строительного мусора бревнами, сквозь золу в камине еще просвечивали пурпурные бока их. Даже в такой относительной идиллии она сумела раздражить меня.

— Fuck you! Джон Леннон и хитрую японку Йоко Оно. Так ему и надо...

— Ты что, с цепи сорвался, сумасшедший! Какой-то маньяк застрелил Джона Леннона у ворот дома «Дакота», на углу 72-й и Централ-парка. Очнись, сумасшедший, речь идет о Ленноне... Целое поколение потеряло лидера...

— Я никогда не любил эту сладкую семейку, «Битлз». Жадные рабочие парни, сделавшие кучи денег, меня никогда не умиляли. Тебе они должны быть близки, такие же ханжи, как и ты...

— Слушай, ты совсем охамел, — сказала она там, в Риме.

— Я имею право! — твердо заявил я в Париже.

И она знала, что я имею право. Наша с ней попытка образовать пару опять, после нескольких лет раздельной жизни (там, в Риме, у нее был законный муж!), не удалась. По ее вине. Она опять сдрейфила. Я явился в Париж в конце мая из Нью-Йорка с двумя чемоданами начинать новую жизнь. Мой издатель, Жан-Жак Повэр, в очередной раз обанкротился — остался без издательства, и контракт, который я с ним подписал, оказался недействителен. Я приехал в Париж спасти книгу. Я был готов к промоушену моей книги даже с помощью machine-gun, как я записал в дневнике того времени. Она приехала в Париж в начале июня с восьмью чемоданами и гордон-сеттером, или сеттер-гордоном, глупейшей собакой в любом случае. Но не начинать новую жизнь со мной, как я воображал, она

лишь привезла приличествующее количество нарядов, дабы с блеском прожить еще одно приключение в жизни — она хотела испытать, что такое жизнь в Париже с начинающим писателем. Ее муж? О, он был тактичным графом, он отпускал ее на месяцы одну в Париж и Нью-Йорк, он был тактичен до такой степени, что предупреждал о точной дате и времени своего последующего телефонного звонка в письме!.. Выяснилось, что у нее превратные представления о жизни начинающего писателя. Ей не понравилась моя студия в виде трамвая, только голова студии была освещена, хвост терялся во тьме. Не понравился затхлый запах старых тряпок и мебели мадемуазель Но. Она возненавидела электрический туалет, шумно выкачивающий дерьмо по узкой латунной трубке в широкую канализационную трубу. В туалет этот — чудо французской канализационной техники (с мотором!) — нельзя было бросать туалетную бумагу. Ей была противна моя сидячая ванна, в которую (если я, забывшись, бросал в туалет бумагу) нагнеталось мое или ее дерьмо из туалета! Какой кошмар, у ее мужа был титул, и у нее был титул, и пожалуйста — такой туалет и такая ванна! Женщины любят читать о первых шагах впоследствии знаменитых писателей в Париже в книгах, в них дерьмо, хлюпая, вдруг выступившее из отверстия в ванне, куда обязана стекать вода, выглядит романтическим. Но опускаться в такую ванну въяве, хотя бы и вымыв ее предварительно... Кошмар! (Камин ей, впрочем, нравился. Камин был утвержден романтической традицией как несомненный атрибут «бедной» жизни художников и артистов.)

За июнь месяц, прожитый с нею в Париже, я успел выяснить о ее характере больше, чем за несколько лет нашей совместной жизни в Москве и Нью-Йорке. Она оказалась показушницей *par excellence*. Она вдруг опять шатнулась в мою сторону, потому что ей показалось, что я начал соответствовать ее стандартам. Загружаясь в поезд в Риме

с сеттер-гордоном и чемоданами, она, очевидно, думала, что едет прямоком в первые пятьдесят страниц книги Хемингуэя «Движущийся праздник». Она ошиблась, слишком забежала вперед. Кроме Жан-Жака Повэра, я не был известен ни единой душе. Ей некуда было надевать все эти восемь чемоданов тряпок. Один раз мы посетили «Липп» элегантно одетые (предвосхищая годы безденежья, я привез из Нью-Йорка смокинг и несколько первоклассных одежд), молодые и бизарр, но посетители не остолбенели и не были повергнуты в смущение. Никто и ухом не двинул. (Одна, она таки повергала в смущение знаменитостей. После сольного посещения ею «Клозери де Лиля» я нашел у нее в сумочке целых три телефона Жан-Эдерна Аллиера и телефон Филиппа Солерса.) Мы не успели поскандалить, так как в июле, оставив половину чемоданов в моей студии, она уехала с титулованным мужем в Великобританию. Она всего лишь обозвала меня на прощание скрягой...

В августе она позвонила мне, чтобы сказать, что она в Париже и остановилась в отеле «Тремуай». Все забыв, я помчался в такси к ней. Красивая, в соломенной шляпке с цветками, она мальчишески разгуливала по холлу. Мы бросились друг к другу и срочно поднялись к ней в комнату, чтобы совкупиться. Ближе к вечеру, сидя в ресторане, я узнал, что за отель «Тремуай» буду платить я. Я имел глупость похвалиться ей в открытке, что заключил с Жан-Жаком Повэром и издательством «Рамзэй» новый контракт, за каковой получил вдвое больше денег.

Декларируя письменно любовь к любимой женщине в только что проданной книге, мужчина не может так вот сразу выпалить: «Собирай вещи, переезжаем ко мне! Безумие платить девятьсот франков в день за комнату в отеле, когда я плачу 1300 в месяц за студию!» Только по прошествии четырех дней мне удалось увезти недовольную аристократку на рю Архивов. Отсчитывая деньги

розоволицему кассиру отеля, я видел не пятисотфранковые билеты, но корзины с провизией, могущей обеспечить мой желудок на многие месяцы вперед... Уже через неделю мы разругались вдребезги. Она швырнула в меня блюдом с вишнями, англо-французским словарем и покинула улицу Архивов. К моему облегчению. В пределах территории двух постелей студии, в горизонтальных или близких к горизонтальным положениям наша жизнь была великолепна, но как только мы выбирались из постелей, начинались стычки и разногласия. Она не звонила мне всю осень. И вот убили Джона Леннона.

— Повезло человеку, — сказал я. — Что его ожидало в любом случае? Старение, судьба толстого борова Пресли? Охуение от драг и алкоголя... Благодаря тому, что его пришили, нам не придется увидеть его в загнившем состоянии. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь пристрелил меня, когда я напишу все, что мне нужно. Парня этого, который его убрал, объективно рассуждая, благодарить бы нужно...

— У тебя нет ничего святого, — сказала она.

— У тебя зато есть. Ты никого не любишь, кроме своей пизды. И мужа своего не любишь, но эксплуатируешь, — прибавил я, предвосхищая ее ответ.

— Неправда! — закричала она. — Я люблю свою сестру и маму люблю!

— Кончай демагогию, — сказал я. — Любовь — не твоя страсть. Твоя страсть — страх. Боязнь жизни. Потому ты всегда стремилась спрятаться от жизни за мужскую спину, в теплое, красивое стойло.

— Неправда! — вскричала она. — Я любила тебя и ушла от богатого мужа, вдвое старше меня, который относился ко мне как любящий папа, к тебе, безденежному поэту. У тебя было пятьдесят рублей денег, когда я ушла к тебе, ты забыл? И глупая, вышитая крестиком украинская рубашка. Одна. В ней ты читал стихи. Ты снимал желтую комнату в девять

квадратных метров в коммунальной квартире... Я не побоялась жизни, я, не умея плавать, прыгнула в нее!

— Это не твоя была храбрость, my dear, но храбрость твоей пизды. Тебе было двадцать два года, и ты хотела ебаться, безудержно хотела ебаться, а твой муж, погасив свет, ебал тебя ровно три минуты! Ты же хотела ебаться сто минут, двести, всегда! Ты ушла ко мне, потому что я тебя хорошо ебал, вот что! В Нью-Йорке мой хуй тебе надоед, и тебе стало страшно бедности, в которую мы попали. Ты заметалась от мужчины к мужчине в поисках теплого стойла...

— Каким же монстром ты стал, Лимонов! — сказала она грустно.

— Прекрасно! — сказал я. — Я счастлив быть монстром. Не звони мне, пожалуйста, впредь! Пусть твой муж-фашист утешит тебя в горе.

И я положил трубку. Ее титулованный граф был членом фашистской партии, она сама мне об этом рассказывала. Я надел красные сапоги, брюки, куртку и спустился за прессой. С манерами бывшего аборигена я отобрал и купил четыре газеты и «Экспресс». Это был день «Экспресса». Я стеснялся листать издания и потому неразумно тратил деньги. Во мне всегда, до эксцентричности, была развита гордость. Я поднялся к себе. Вместо обещанной атташе-де-пресс статьи о книге Лимонова (на этот раз точно, Эдвард, уверила меня Коринн по телефону) на несколько страниц растянулась статья о писателях Квебека.

— Кому, на хуй, нужны писатели Квебека? — думал я злобно, закулив житанину. Я стал курить «Житан» вместо «Малборо», они были на три франка дешевле. Иногда, чтобы поощрить себя, я приобретал себе литр рому «Негрита» — самого дешевого алкоголя, какой было возможно обнаружить. У рома был запах неочищенной нефти. В недрах одного из шкафов были спрятаны остатки марихуаны. (В свое время я привез из Юнайтед Стейтс несколько унций,

предполагая, что трава пригодится мне в стране французов.) Марихуану я берег для секса, поскольку даже идиоту известно, что это афродизиак. Трава нужна была мне, чтобы соблазнять женщин и соблазняться женщинами.

Писатели Квебека, счастливицы, в парках и шапках, скалились со страниц «Экспресса». «О чем могут рассказать читателю личности с такими вот лицами, как у писателей Квебека? — подумал я. — О чем?» Мидл-классовые, хорошо питающиеся лица обыкновенных людей среднего и преклонного возрастов. Страсти позади. Несложные, как у большинства населения, взгляды на жизнь. Вот этот, может быть, описал путешествие на собаках через северные области Канады (на фото он был с собаками). Ну и хуля, на лошадях ли, на быках, на собаках, если в голове у тебя обычные скучности, то что ты можешь сказать читателю? Я прикинул, как будет выглядеть на странице моя фотография. «Я ебал вас в рот, идите вы все на хуй, ебанные суки!» — пришла мне в голову последняя фраза моего романа. «Я тут, читатели, на рю Архивов, я здесь, я жив!» — закричал я для пробы и прислушался. За стеной молодой муж с усами, он всегда аккуратно здоровался со мной, если мы встречались на лестнице (атташе-кейс, легкое бежевое пальто), прокричал жене (рыхлая беременная женщина, брюнетка) нечто злобное, перемежая неизвестные мне слова известными мне ругательствами. «Ta gueule! Salope!»* Их страсти были шумнее моей молчаливой борьбы с призраками.

К двадцатым числам декабря, исключая небольшую заметку в провинциальной, не парижской газете, показавшую мне убогой (хотя атташе и уверила меня, что у газеты полуторамиллионный тираж), критики на мою книгу так и не появилось. Внешне я жил той же жизнью. Писал роман о человеке, живущем в студии с общающимися туалетом

* «Заткнись! Блядь!» (франц.)

и ванной, собирал на Рамбуто подгнившие овощи и ящики для камина, с должной дистанцией покупал в определенные дни прессу. Лишь большее количество бутылок из-под рома «Негрита» скопилось у двери и большее количество житанов выкуривалось за день. Однажды, идя по рю Сент-Андре-дез-Арт, глядя себе под ноги, я увидел, что серый тротуар расплывается, корежится и пучится таким образом, словно из него собирается вылезти дерево или фонарный столб. Чтобы не упасть, мне пришлось опуститься на грязные плиты... В другой раз, день был такой тошно-серый, что даже по парижским стандартам казался гнусным днем, я взглянул в окно. Здание напротив показалось мне головой очень старой женщины. Седые волосы — крыша, с воткнутыми в них косо приколками антенн и гребешками каминных труб, — покрывали старое, растрескавшееся и обильно запыленное лицо. Я отшагнул к столу и вгляделся в текст, только что отстуканный мною на машинке. «Я — ВЕЛИКАЯ МАТЬ ЛЮБВИ», — отстучал писатель Эдвард Лимонов несколько раз подряд. Текст был не о древних религиях Месопотамии, в рассказе речь шла о моем пребывании в Калифорнии, среди новых мафиози — эмигрантов из СССР. Каким же образом попала туда Великая мать, да еще и в нескольких экземплярах? И уж если попала, то Эдуард Лимонов — мужчина, как он может быть Великой матерью? Что-то не так, Эдвард...

Я понял, что схожу с ума. Не потому, что у меня большая психика, дефективные нервы или же я унаследовал безумие от порченной тети или порченного дяди. Я закономерно схожу с ума, потому что заигрался в Мальдорора-супермена, что, полагаясь на свое здоровье и равновесие, забрался в своем одиночестве так далеко, как никогда еще не забирался. В Париже жили сотни русских, какая-то часть их с удовольствием общалась бы со мной, стоило мне высказать желание. Но, гордый, я не желал общаться с соотечественниками,

воспринимая это как слабость. Я хотел общаться с личностями, достойными Эдуарда Лимонова, опубликовавшего книгу в коллекции Жан-Жака Повэра chez* «Рамзэй». С достойными — или ни с кем... Оказалось, что человек, в данном случае я, не может как угодно долго находиться один, что есть лимит одиночества. Нужно было спастись. Следовало идти к людям. Я поднялся по лестнице и прижал ухо к двери девочки с шевелюрой. Прерываемый ее легким и взволнованным, оттуда прогудел на меня мужской голос. Я попятился к лестнице...

У себя в студии я прошел к окну и открыл его. Лицезрением моей книги в витрине Mille feuilles я рассчитывал вернуть себя в состояние маниакальности. Увы, книга из витрины исчезла. На ее месте лежала чужая книга в красно-белой обложке.

Грубо, как аларм в мясном магазине, забился в судорогах телефон.

— Хэлло!

— Вы говорите по-русски, да? Меня зовут Моник Дюпрэ. Пишется одним словом — Дюпрэ. Атташе-де-пресс chez «Рамзэй» дала мне ваш телефон. Я журналист для (последовало невнятное название газеты или журнала). Я читаю ваша книга. Можно вас увидеть сегодня?

— Можно, — сказал я и попытался по голосу представить, как она выглядит и сколько ей лет. Но сколько бы ни было, решил я, я выебу ее, иначе не буду себя уважать. Чем же и спасаются от безумия, как не пиздой. Лучшее средство.

Через пару часов она материализовалась на пороге моей студии в крупную даму в шерстистом зеленом пальто. В руках у нее было несколько пластиковых супермаркетовских пакетов. И, переброшенная через шею и плечо, висела

* Здесь в значении: у издательства «Рамзэй» (франц.).

на ней большая сума. Звякнув пакетами, она установила их под вешалку.

— У вась очень хорошье, — сказала она, снимая шерстистое пальто и любопытно оглядывая помещение.

Под пальто на ней был неопределенного цвета балахон в татуировке мелких цветочков, из тех, что носят обыкновенно консьержки. Коротко стриженная, загорелая, и — о ужас — босые мускулистые икры торчали из-под балахона, на ногах крепкие туфли без каблуков, она прошла в голову моего трамвая, к окнам.

— Читая ваша книга, я представляла, что ви должны жить совсем плёхо. Извини, можно я буду говорить тебе «ти»?

— Можно, — согласился я и поместил ее возраст где-то между пятьюдесятью и пятьюдесятью пятью. Еще пяток лет — и она годилась бы мне в мамы. — Где вы так хорошо научились говорить по-русски? Вы что, русского происхождения?

— Но, нет, я стопроцентный француженкья! — засмеялась она. — Я долго жила в Москва, потому что мой мужь, индустриалист, делал там бизнес с советски. Два мой сина ходили там в школу. — Усевшись, она широко расставила ноги под балахоном и уперлась ладонями в колени. — Твой книга меня очень тушэ, очень-очень затьрогал. Мне твой историй очень близок... Любв твоей мне понятен. У меня остался большой любв в Москва. Его зовут Витькья... Ох, Витькья... — Лицо ее приняло нежное выражение. — Мой малчик Витькья, такой красивый, такой хорешый. Я совсем недавно живу в Париж, Эдуар, только один с половиной год как из Москва. Французский человек ужасны, материальный совсем... Я хочу всегда обратно, в Москва, где Витькья... Я всегда плачю... — Она смахнула невидимую слезу.

Я кивал головой и думал, почему она не вынимает магнитофон или блокнот и не задает мне вопросов.

— Ты хочешь выпить и кушать? — сказала она и встала. — Я принесла хороший вина и кушать тоже. Я знаю, что ты бедни, потому ми должны кушать. Я очень научилась русски обычай в Москва. — И она по-хозяйски прошагала к вешалке.

Глядя на нее в перспективе, я решил, что она похожа на одно из приземистых коротких бревен, которые мне удалось недавно обнаружить на рю Блан-Манто. До того, как я их распилил. Бревно в сарафане. Никакой русский обычай не предусматривает приход в дом незнакомого тебе человека с сумками еды.

— Вот, — сказала она, — хороший бели и красны вино. — «Блан де Блан» и «Кот дю Рон» стали на мой стол. — Вот rate* (она вынула патэ в глиняной чашке). Кольбаса... Ри-эт...** — Стуча продуктами, она выставляла мини-гастроном на мой рабочий стол.

«Она насилует меня самым наглým образом», подумал я. Однако она приступила к сдиранию упаковок с припасов, и запах свежей еды заполнил студию. Отвернувшись к окну, я проглотил слюну. Я хотел есть. И я любил именно ризет и свиную колбасу — жирные, крепкохолестеринные блюда.

— Я должна тебе признаться, что я обманула атташе-де-пресс. — Она рассмеялась. — Я сказала, что я журналь-исткья, чтоб получить твой телефон, но мне так ньярвилась твоя книга... — Ее окрашенные синим веки виновато опустились и поднялись несколько раз, прося прощения, обнажая черные боевые зрочки нахалки. — Давай кушать. У тебя есть тарельки?

Через полчаса мы сидели рядом на диване-конвертабл, я курил марихуану, а она рассказывала мне, насколько наши души похожи, ее душа и моя. Ее русский, и до этого полный

* Паштет (франц.).

** Тушенка (франц.).

лишних мягких знаков, после «Кот дю Рон» и «Блан де Блан» истекал соками. «Моя» Елена и «ее» Витька также, по ее мнению, были похожи — любимые нами чудовища. Из того, что она успела мне рассказать о «такой красивый Витькья», я привычно сложил из элементов образ бездельника, мелкого фарцовщика и даже не макро* или жиголо, но приживальщика, оставшегося в столице Союза Советских, но и на расстоянии не дающего пизде и воображению мадам Дюпрэ покоя. С Витькой мне все было ясно, Витька доил иностранку, «раскалывал» ее на костюмы и свитера, зажигалки и всяческие приятные мелочи. У Витьки, у ленивого бездельника, не было даже достаточно энергии, чтобы найти себе иностранку помоложе. Однако следовало ебать мадам Дюпрэ, ведь я пообещал себе это — первый акт курса лечения моей расшатанной одиночеством психики, еще когда беседовал с ней по телефону. Она совершенно мне не нравилась. Ни ее сарафан, ни ее возраст, ни бревнообразная фигура, ни скользкие синие тонкие губы, ни седина в ее короткой прическе под мальчика, ни веснушчатые руки ее мне не нравились. Но необходимо было освободиться от оцепенения перед жизнью, от гипноза, в какой-то я погрузил себя сам (самогипноз — самый эффективный из гипнозов). «Выебу мадам Дюпрэ, а потом выебу эту девочку сверху», — сказал я себе. Так ребенку обещают сладкое на десерт, если он съест суп.

— Ты такой сенсативь... — донеслось до меня. — Витькья...

Нужно было действовать без промедления, ибо она намеревалась украсть у меня победу — выебать меня. С самого начала, с момента, когда она стала выкладывать свои жирные припасы на мой стол, у меня не было сомнения, что она пришла меня выебать... Аккуратно притушив ногтем

* Сутенер (франц.).

марихуанный джойнт, я положил его в хозяйкину пепельницу. Неуклюже, сдирая с дивана хозяйкин плед, но без колебаний, я придвинулся к Витькиной женщине. Крупным планом надвинулись ее узкие губы, смятый кусок шеи и щечка на ней. Губы не были мне нужны. Не совсем понимая, что мне нужно, я нажал на ее плечи, и она послушно, лишь вздохнув, съехала вниз. Ее вздох подтвердил мою догадку, что она любит первая хватать мужчин за член. Мне удалось досадить ей, предвосхитив попытку. От сознания того, что я краду у нее часть удовольствия, процесс сволокивания ее на пол студии доставил мне удовольствие. Сволоки, я приспособил ее, грудь на диване, зад обращен ко мне, и запустил руки под сарафан. Под сарафаном оказался по-мужски твердый зад, покрытый шершавыми трусами из толстого акрила. «Ни единого мягкого куска!» — отметил я с сожалением, проползя руками талию, вернее полное отсутствие талии, мадам Дюпрэ лишь едва заметно сужалась в этом районе... Я дополз до грудей. Они оказались маленькими и резиновыми на ощупь. «Бедный Витька!» — пожалел я соотечественника и решил вызвать в себе желание тем, что внушить себе, что мадам мне противна... Задрал сарафан далеко ей на руки и голову, я стащил (действуя как можно грубее) акриловую броню, и — о счастье! — у нее оказался отвратительный запах...

— Почему ты не открываешь глаз, Моник? — спросил я ее, вернувшись к своему марихуанному джойнту.

Оправив сарафан, она, однако, осталась на полу, прикрыв ладонью глаза. И не шевелилась.

— Мне стыдно перед Витькя... — прохныкала она.

— Витька далеко, в Москве, — сказал я. — Он не видит.

Для себя я подумал, что Витька, если бы вдруг, согласно невероятному какому-нибудь чуду, вошел бы сейчас в студию, то, переступив через нее, протянул бы руку к джойнту. «Дай потянуть, мужик?» — сказал бы Витька. И потянув,

допил бы полстакана «Блан де Блан», оставшиеся в бутылке. И уж после этого, может быть, заметил бы ее. «Бонжур, Монастырь!»

Сержант, как я окрестил мадам Дюпрэ, пережила стыд перед Витькой. Я трахнул ее еще (спасибо мисс марихуане!) и наутро чувствовал себя великолепно. Стараясь не глядеть на одевающегося Сержанта (короткие ноги, твердый зад, широкие плечи, кошмар!), я оделся и, спускаясь с ней по лестнице, был уверен, что обнаружу статью о моей книге в сегодняшней прессе. Жизнь подобна напряженному и чуткому магнитному полю, и, когда твое веселое и бодрое тело излучает силу в мир, оно, несомненно, оказывает влияние на сложные волны воле вокруг, и они подвигаются. Сержант, спускаясь за мной, жаловалась на то, что ей стыдно. Однако теперь ей было стыдно не перед Витькой, но перед сыновьями за то, что она не ночевала дома. Я был уверен, что она переживет и этот стыд. Стоя у окон агентства страхования «Барбара», мы расстались. «Я позвоню тебе вечером, — сказала Сержант. — Можно? Что ты делаешь вечером?» Кажется, она намеревалась продолжить разговор о том, какие мы с ней «сенсативные» и какие моя бывшая жена и Витька чудовища.

«Экспресс» напечатал статью о моей книге! Статья была большая. Чтобы понять, хорошая это статья или плохая, я вооружился двумя словарями и сел у окна. Дом напротив больше не казался мне головой седой дамы, но, освещенный бьющим из-за моей спины, со стороны церкви Нотр-Дам-де-Блан-Манто, солнцем, он казался мне этой самой Нашей Дамой Белых Пальто. Статья была положительная. Писали, что наконец у русских появился «нормальный» писатель...

Во второй половине дня я находился в процессе уничтожения оставленных Сержантом припасов, телефон подал голос. Я с неохотой отвлекся от ризта. После ризта я собирался постучать в дверь девочки с волосами. «Bonjour, je suis

votre voisin. Voulez-vous coucher avec moi?»* Мы спустимся ко мне, и «Экспресс» будет небрежно валяться на диване... Переместившись из монашеского периода в бордельный, я немедленно приобрел необходимую наглость.

— Могу я говорить с Эдвардом Лимоновым? — спросили по-английски. Женщина.

— Конечно, — сказал я, обрадовавшись английскому. Сноб, я презирал русский язык, а учиться французскому медлил. — Говорите.

— Я узнала ваш телефон у атташе-де-пресс издательства «Рамзэй», — сказала она. (Нужно будет купить Коринн цветы, подумал я.) — Мой муж — писатель Марко Бранчич. Сегодня «Экспресс» опубликовал статью о его книге. Рядом со статьей о вашей. Вы видели? — Она приветливо засмеялась в трубку. — В той же рубрике — «Иностранный роман». Мы югославы.

Я заметил в «Экспрессе» лишь свою рожу и «Ю-Эс-Арми»-тишорт на груди Эдварда Лимонова, но смех ее мне понравился. Почти наверняка она окажется лучше Сержанта.

— Да, — сказал я, — конечно, видел, прекрасная статья!

— Я извиняюсь за то, что я так вот запросто вам звоню, у французов так не принято, но я подумала, что вы русский... Короче говоря, вы заняты сегодня вечером?

— Нет, — решительно ответил я, готовый к любому приключению.

— Дело в том, что по странному совпадению у меня сегодня день рождения. — Она еще раз засмеялась, и я решил, что она уже отметила свой день рождения, выпила. — Хотите приехать к нам?

— Хочу. С удовольствием приеду.

— Мы будем очень-очень рады, — сказала она. — Я и мой муж... Запишите адрес. Мы живем в Монтрёй. Это

* «Здравствуйте, я ваш сосед. Вы хотите выспаться со мной?» (франц.)

не близко, но и не на краю света. У вас есть автомобиль?.. Ну не страшно, в метро это не более получаса... Гостей будет немного. Несколько друзей...

Я приобрел бутылку водки и цветы за 25 франков. Невозможно было явиться к женщине с таким голосом без цветов. «Сэкономлю впоследствии, — решил я, — буду питаться исключительно овощами с тротуаров рю Рамбуто».

Я плохо знал тогда Париж и совсем не знал Монтрёй. Но я добрался без происшествий до указанной мне станции метро, где меня должен был встретить ее муж. «Вы узнаете друг друга по фотографиям в “Экспрессе”», — счастливо сказала она. И мы узнали. Одновременно. В черном узком пальто, в темных очках, со свисающим набок, чуть на темные очки, чубом, он выделялся среди толпившихся у станции арабов и черных. Он был единственным блондином.

«Приятно познакомиться, Эдуард, — сказал он по-русски и улыбнулся куда-то вниз. В том, что югослав говорит по-русски, ничего удивительного не было. — Пойдемте, тут совсем недалеко». По его мягкому выговору и манерам можно было предположить, что он мягкий и приятный человек. Что и подтвердилось впоследствии.

Окраина была застроена дешевыми коробками для бедных. Подобные кварталы окружают все большие города мира, включая советские. Дом, подъезд, квартира — если исключить граффити по-французски и арабски и черную кожу части соседей, вполне можно было представить себе, что я приехал на московскую окраину. Изабель Бранчич оказалась латиноамериканкой. Маленькая, носатая, черные волосы завернуты в одну сторону черепа и заколоты. В брюках. Я вручил ей цветы и бутылку в прихожей, стены ее были окрашены в черный цвет. «Моя идея, не совсем удачная, — сказал Марко Бранчич по-английски. — Кстати, как ваш французский, мы можем говорить по-французски, если вы хотите. К сожалению, русского, кроме нас с вами, никто

не понимает». Я признался в своей импотенции в области французского языка и отметил, что квартира их хорошо пахнет. Чем-то свежесовременным пахло, перекрывая разумный, ненавязчивый запах еды.

В салоне сидели на полу вокруг низкого стола несколько человек. Я обошел их. «Мишель. Журналист». Очки. Клоки волос здесь и там по черепу. Такими изображают преждевременно полысевших в комиксах. «Колетт. Жена Мишеля. Доктор». Тяжелые челюсти северного (Бретань? Нормандия?) лица, зеленое платье. «Сюзен». Очкастая Сюзен сочла нужным встать с пола. Встав, она оказалась здоровенной дамой на голову выше меня, бестактно одетой в ковбойские сапоги и цветастую юбку.

— Сюзен нас изучает. — Освободившись от пальто, Марко вернулся в комнату в темной куртке без воротника и с накладными карманами. Если бы писателям полагалась униформа, выбрали бы именно такой вот френчик. — Сюзен изучает славянскую и восточноевропейские литературы. Она американка. Эдвард много лет жил в Нью-Йорке, — пояснил он ей.

Я подумал было, откуда он знает все это, но вспомнил, что моя краткая биография была пересказана в статье.

Я, может быть, и одичал за несколько месяцев жизни без человеческого общества, но вовсе не желал прослыть дикарем. Мы выпили шампанского за Изабель. И еще шампанского за наш с Марко дебют в литературе. Я опустил рядом с Сюзен, скрестил ноги, и мы заговорили о славянской литературе по-английски. Я выяснил, что Лошадь (я имею ужасную привычку тотчас придумывать людям клички) никогда не была в Нью-Йорке. В момент, когда я это выяснил, в комнату вбежала рыжеволосая дочь Бранчичей, и я забыл о взрослых.

Очевидно, кто-то из Бранчичей учился верховой езде. Рыжеволосый демон влетел с плеткой в руке и набросился

на гостей. Пока она хлестала мою соседку Лошадь, я заметил, что девчонкин прикус зубами губы — неполный. Отсутствовал один передний зуб. Девчонка обрабатывала бока Сюзен дольше, чем другие бока. В конце концов, поймав несколько брошенных ею из-под ресниц взглядов, я понял, что она избивает американку для меня. От девчонки на меня изливались ощутимо горячие волны биотоков. Не считая себя неотразимым мужчиной, я объяснил ее внимание завоевательским, агрессивным темпераментом девчонки. Всех других она, очевидно, уже завоевала, я был новым объектом завоевания.

У них была легкая атмосфера в их компании. Чем-то они напомнили мне нью-йоркских моих друзей. Все открыто и спокойно и без чопорности веселились. Когда я предложил выкурить джойнт и извлек его — они обрадовались. Покуриив травы, я, однако, заметил, что за тонкой пленкой веселья у нас просматривались настороженность в глазах и свои у каждого цели.

Будущая рыжая блядь, наевшись стейка, разделанного странно молчаливой мамой Изабель (по телефону у меня сложилось о ней другое представление. И это ради ее смеха я приехал в Монтрёй), — стейк оказался ее любимой едой, — возбудилась еще более. После буйного веселья, воинственного танца по всей квартире, она остановилась предо мной, швырнула плетку на пол и, глядя на меня наглыми, полуулыбчивыми, но очень серьезными глазами женщины, твердо держащей в руках мою судьбу, приказала: «Подыми!»

«Откуда она знает, откуда так чувствует?» — подумал я, ведь никто не учил ее. Некоторое время я, колеблясь, смотрел на рыжую. Красивое личико сморщилось во властную гримаску, глаза были совершенно безжалостные. Присутствующие молчали. По лицу мамы Изабель блуждала, ослабевающая, стеснительная улыбка. Я был слегка «хай»

от шампанского и травы, но я понял, что нужно поднять, и поднял плетку, подчиняясь восьмилетней госпоже. Дитя, из женщины опять став дитем, довольно захохотало.

— Сурово она тебя, — сказал Марко, переходя на «ты».

— Видишь ли, Марко, — начал я тоном ученого, — мы с ней, несмотря на возрастную дистанцию, принадлежим к одной из вечных классических человеческих пар. Я и она в сочетании способны причинить друг другу максимум страданий и, что почти то же самое, — счастья. Мы — «Поэт и Гетера». Твоя дочь этого не знает, но чувствует. Биология...

Мы принялись развивать эту тему, к нам присоединилась Сюзен. Перешли на другую тему. Мы смеялись, затихали, марихуана вдруг открывала в собеседнике бездну, но тотчас эту бездну вышучивала и закрывала плоской поверхностью. Устав, Эммануэль тихо улеглась возле меня, задрала ноги на пуф. Из-под длинной юбочки до меня доносился запах непроветренной ее пипки. Порывами. Прибудет, и исчезнет, и опять прибудет... Я некоторое время раздумывал, приятен мне запах, смешанный с запахом детской мочи, или нет. Я нашел, что приятен... Долго нюхать ее мне не привелось. Отдохнув, она вскочила, схватила большое перо, в него была вмонтирована ручка (Лошадь Сюзен подарила эту гадость Марко-писателю), и стала щекотать мне шею. Я вскочил, погнался за ней и принялся обстреливать ее мандариновыми корками, их множество уже было разбросано вокруг, никакого порядка в обеде не соблюдалось, десерт был подан в одно время со стейками. Швырял я в нее корки серьезно, желая попасть. Она удивительно честно и красиво пугалась, визжала и пряталась от моих безжалостных мандариновых корок.

В два часа ночи, с большим скандалом, ее увел спать Марко. Чувствительная, как животное, от моего внимания она сделалась истерически взвинченной, и большого труда стоило ее успокоить.

Так как идеал был насильственно увиден, следовало обратиться к реальным женщинам. Эпизодические гости исчезли. Супруги, улыбаясь, бродили по квартире, и на лицах их я не обнаружил никакого желания, чтобы гости ушли наконец. Я подумал, а не трахнуть ли мне исследовательницу славянских литератур. Марко, мы вместе что-то делали на кухне, уже успел сообщить мне, что она лесбиянка. Я отнесся к сообщению скептически.

— В наше время, Марко, — сказал я, — все желают быть интересными и необыкновенными. Я убежден, что многие называют себя лесбиянками или гомосексуалистами исключительно из мелкого тщеславия. Мне кажется, что американке такого роста, в ковбойских сапогах, безвкусной юбке, в очках, нелегко найти мужчину в Париже.

— Она не любит мужчин, — заметил Марко. — Мы пытались, между нами говоря, с Изабель затащить Сюзен в постель. Сопротивляется... Зажметса и не дает. — Югослав снял темные очки и посмотрел на меня без очков. Порозовевшая физиономия его и чуб, свисающий на глаза, были мне необыкновенно симпатичны.

Я почувствовал к нему братскую любовь и нежность. Еще я почувствовал гордость за мое поколение, такое доброжелательное и нетяжелое. Но я не прекратил его анализировать. «Они пытались затащить...» Этим провокационным замечанием он пытается дать мне знать, что они не против того, чтобы затащить кого-либо в постель. Я вспомнил смех Изабель по телефону... Я решил остаться с ними. Но, как это часто бывает, случайность расстроила наши планы в последний момент.

Не рассчитав марихуанной силы (это была бессемянная, я привез лучшую!), Сюзен способна была разговаривать, но неспособна передвигаться. Но по железной американской причине, в которую мы все поверили почему-то, ей нужно было возвратиться chez elle в квартиру на рю

Монмартр, у Ле Халля. Умолив нас вызвать такси, поверженная башня стала ползком двигаться к лестнице. Я сжался над башней и взялся отвезти ее. Выгрузив великаншу на рю Монмартр, я мог вернуться к себе на Архивы пешком через Ле Халль. Мыслей о захвате ее тела у меня, кажется, не было.

Несмотря на предрождественский мороз, она не очнулась ни в такси, ни на рю Монмартр. Я изрядно помучился, подымая ее на второй, всего лишь, этаж без лифта. Отыскав у нее в сумке ключи — она в этот момент сидела, вытянув гулливеровские ноги поперек маленькой французской лестничной площадки, и пыхтела, — я втащил ее в квартиру. За нее платил университет богатого нефтяного штата, квартира была большая. Протащив через салон, я возложил великаншу на кровать в спальню. С подушки свалился розовый слон, почивавший на ней ранее, а с великанши свалились очки. Пытаясь понять, что она пытается мне сказать, я пригляделся к ней и нашел ее вовсе недурной девушкой. Без очков у нее оказались большие глаза; рот, может быть, потому, что она перестала им управлять, выглядел крупным и сочным; из створок пальто, прорвавшись через блузку, выскользнула большая, белая с розоватым соском грудь. «Мазэр! Ох, мазэр!» — простонала она и протянула руку в моем направлении.

Я вспомнил безумную строчку Лимонова «Я Великая мать любви», и она показалась мне менее безумной. Я сел на кровать и склонился над телом. «Я здесь, май дир... Я с тобой, моя герл!» Одну руку я положил на белую грудь, другой, удалив волосы со щеки, я провел по ее губам. Все еще принимая меня за мать, оставшуюся в нефтяном штате, она поймала мои пальцы губами и стиснула их. Боясь, что она меня укусит, если откроет глаза, я был готов выдернуть их в любой момент, но, обхватив два пальца губами поудобнее, она стала сосать их, как дети сосут соску или материнскую

грудь. Может быть, в марихуанном сне ей привиделось, что мать дала ей грудь?

Сюзен поняла, что я не мама, только после получаса езды на ней. Очнувшись и поняв, что с ней происходит, что мужчина лежит меж ее неприлично раскинутых ног и энергично пытается разбудить к жизни ее уснувший (от лесбийских утех или воздержания) орган чувствования своим членом, она попыталась сбросить меня.

— What are you doing, Marco?!* — закричала она. — What are you doing?

— Молчи, — сказал я. — Я хорошо тебе «дуинг». Помнишь вашу американскую поговорку «Если не можешь избежать насилия, расслабься и получи удовольствие»? — На то, что я не Марко, я не стал ей указывать, поймет сама. Да и какая, в сущности, разница?

Рациональная, почти профессор, она преодолела страх или отвращение к мужчине и втянулась в то, чем мы занимались. Может быть, и лесбиянка, но она оказалась на высоте, никакой скидки ей давать не пришлось. В некоторой ее неуклюжести был определенный шарм. У больших женщин хороши ноги и зады. И вот я с большим удовольствием лежал меж высоких ног великанши. Эрудит, я вспомнил соответствующие строчки Бодлера. Я решил доказать ей, что никакое лесбийское удовольствие не может сравниться с сексом с мужчиной. Я не считаю себя сверхсамцом, и у меня случаются срывы, есть моменты в моей жизни, которые мне стыдно вспоминать, но в ту ночь я был в хорошей форме. В лучшей, кстати сказать, чем с Сержантом.

К утру я замучил ее, заездил, у нее заметно обострились скулы. В порыве благодарности и откровения она призналась мне, что ее дедушка был поляком и что она не спала с мужчиной семь лет! Уже одевшись, я, из хулиганства

* «Что ты делаешь, Марко?» (англ.)